

Эрих Мария
РЕМАРК

Эрих Мария РЕМАРК

Искра
жизни



Издательство АСТ
Москва

I

Скелет номер 509 медленно приподнял голову и открыл глаза. Он не знал, что с ним было — обморок или просто заснул. Между сном и обмороком давно уже почти не было разницы, голод и истощение стерли эту грань. Сон ли, обморок ли — всякий раз тебя засасывала черная болотная муть, откуда, казалось, возврата уже нет.

Какое-то время пятьсот девятый лежал тихо — он прислушивался. Это было старое лагерное правило: покуда ты не движешься, остается надежда, что тебя не заметят или сочтут мертвцем, ведь никогда нельзя знать, с какой стороны грозит опасность; старый как мир закон природы, известный любой букашке.

Но ничего подозрительного он не услышал. Часовые на пулеметных вышках замерли в полусонной неподвижности, да и за спиной вроде бы тихо. Он осторожно повернул голову и посмотрел назад.

Концентрационной лагерь Меллерн мирно нежился на солнышке. Просторный лагерный плац-линейка, прозванный весельчаками из СС танцплощадкой, был почти безлюден. Только справа от главных ворот на четырех мощных деревянных столбах висели четверо арестантов. Руки им связали за спиной и так, за руки, вздернули, чтобы ноги не касались земли. Плечевые суставы у всех, понятное дело, были вывернуты. Теперь два кочегара из крематория, соревнуясь друг с другом в меткости, швырялись в них из окна кусочками угля, но ни один

из четверых даже не дернулся. Они висели уже полчаса и давно были без сознания.

Бараки рабочего лагеря в этот час пустовали — бригады с внешних работ еще не вернулись. Лишь кое-где шмыгали по зоне редкие дневальные. Слева от огромных главных ворот перед штрафным изолятором сидел шарфюрер СС Бройер. Он приказал вынести на солнышко круглый столик и плетеное кресло и теперь пил кофе. Весной 1945 года настоящий, в зернах, кофе — это была большая редкость; но Бройер только что собственноручно придушил двух жидов, которые вот уже полтора месяца отравляли в шизо воздух, и считал, что столь благое дело заслуживает вознаграждения. А тут еще повар прислал ему с кухни вместе с чашечкой кофе кусок ватрушки на блюдечке. Бройер жевал ватрушку медленно, с чувством — особенно любил он изюм без косточек, которого на сей раз попалось в начинке очень много. Тот из жидов, что постарше, не доставил ему почти никакого удовольствия; зато другой, помоложе, оказался ничего, цепкий парень — этот довольно долго брыкался и хрюпал. Бройер сонно ухмылялся, прислушиваясь к размытым руладам лагерного оркестра, что репетировал вдалеке, за теплицами садоводства. Оркестр играл вальс «Розы с юга» — любимую вещь коменданта лагеря, оберштурмбанфюрера Нойбауэра.

Пятьсот девятый лежал в противоположном конце зоны, там, где жались друг к другу деревянные бараки, отрезанные от большого, Рабочего лагеря забором из колючей проволоки. Называлась эта горстка бараков Малым лагерем. Сюда определяли заключенных, которые слишком ослабли и работать уже не могли. И тогда их посыпали сюда умирать. Почти все умирали очень быстро, но пополнение поступало быстрей, до того, как вымирала предыдущая партия, так что бараки постоянно были забиты до отказа. Зачастую умирающие лежали друг на друге штабелями даже в коридорах, а то и вовсе выползали подыхать на улицу. Газовых камер в Меллерне не было. Комендант этим обстоятельством особенно гордился. Он с удовольствием повторял — у них, в Меллерне, умирают только естественной смертью. Официально Малый лагерь считался, да и назывался, отделением щадящего режима, но на самом деле

организмы лишь очень немногих арестантов способны были сопротивляться этому щадящему режиму дольше одной-двух недель. А из этих немногих образовалась еще одна, небольшая, но особенно стойкая группа, что осела в двадцать втором бараке. Эти — собрав последние остатки юмора висельников — вообще именовали себя ветеранами. Среди них был и пятьсот девятый. Его перевели в Малый лагерь четыре месяца назад, и ему самому казалось чудом, что он все еще жив.

Из труб крематория валил черный дым. Ветром его прижимало к земле, ленивые клубы почти задевали крыши бараков. Запах у дыма был жирный, сладковатый и вызывал тошноту. Даже за свои десять лагерных лет пятьсот девятый так и не сумел к этому запаху притерпеться. Сегодня в этом дыму проплыли и останки двух ветеранов — часовщика Яна Сибельского и университетского профессора Йоэля Бухсбаума. Оба умерли в двадцать втором бараке и в полдень были доставлены в крематорий — Бухсбаум, впрочем, не совсем в полном комплекте: недоставало трех пальцев, семнадцати зубов, ногтей на пальцах ног и части полового члена. Недостача образовалась в процессе перевоспитания Бухсбаума из отщепенца и выродка в пригодный общественный элемент. Причем история с половым членом долго была предметом особого веселья на вечеринках и культурных мероприятий в клубе СС. Это была идея шарфюруера Гюнтера Штайнбрэннера, который совсем недавно был откомандирован в лагерь. Как все замечательные идеи, она была проста: вспыхивает концентрированный раствор соляной кислоты, и все дела. Придумкой этой Штайнбрэннер сразу же завоевал авторитет среди товарищей.

Был погожий мартовский денек, и солнце уже слегка притягивало, но пятьсот девятый все равно мерз, хотя поверх своих одежек надел шмотки еще троих товарищей — пиджак Йозефа Бухера, пальто старьевщика Лебенталя и драный свитер Йоэля Бухсбаума, который барак чудом успел спасти прежде, чем труп отправили в крематорий. Но когда росту в тебе метр семьдесят восемь, а весу меньше тридцати пяти кило, тебя не угреют даже самые пухистые меха.

Пятьсот девятый имел право полчаса понежиться на солнышке. Потом надо было вернуться в барак, отдать одолжен-

ные одежки и свою робу в придачу следующему заключенному, и так далее. Распорядок этот ветераны завели с тех пор, как кончились холода. Некоторые, правда, уже не хотели выползать на улицу. Слишком они были истощены и после всех мучений зимы желали лишь одного — чтобы им дали спокойно умереть в бараке; но Бергер, их староста, настоял на том, чтобы всякий, кто еще способен хотя бы ползать, какое-то время проводил на свежем воздухе. Сейчас была очередь Вестхофа, за ним шел Бухер. Лебенталь отказался, у него было дело посущественней.

Пятьсот девятый снова оглянулся. Лагерь расположен на возвышенности, сквозь колючую проволоку весь город виден как на ладони. Город распластался в долине, много ниже лагеря — над толкотней его крыш гордо вздымаются башни церковных колоколен. Город старый, даже древний, с множеством церквей, крепостными валами, липовыми аллеями и петляющими переулками. На севере раскинулись новые кварталы, там улицы пошире, вокзал, доходные дома, фабрики, а еще медеплавильные и сталеплавильные заводы, где, кстати, тоже работают бригады из их лагеря. Широкой ленивой дугой через город протянулась река, и в ее сонных водах отражаются облака и мосты.

Пятьсот девятый уронил голову на грудь. Он не мог все время держать ее прямо. Черепушка казалась чугунной, а мускулы шеи давно иссохли, превратившись в ниточки, — к тому же вид дымящихся труб там, в долине, только усиливает и без того лютый голод. Голод не только в желудке, а как бы в голове, в мозгу. Желудок-то давно к голодухе притерпелся и, похоже, ни на какие другие ощущения, кроме тупой и равномерной голодной боли, давно не способен. А вот голод в мозгу — он куда страшней. Он пробуждает галлюцинации и вообще неутолим. Он прогрызается даже в сны. Зимой пятьсот девятому понадобилось три месяца, чтобы избавиться от навязчивого видения жареной картошки. Да если б только видения — запах ее чудился ему повсюду, даже в парашной вони. А теперь вот шкварки. Яичница с салом.

Он глянул на никелевые часы, что лежали подле него на земле. Часы ему дал с собой Лебенталь. Это была едва ли не самая большая ценность барака; когда-то, много лет назад,

часы эти протащил в зону поляк Юлиус Зильбер, сам давно уже покойник. Пятьсот девятый видел — ему осталось еще десять минут, но все равно решил ползти обратно к бараку. Он боялся ненароком снова заснуть. Страшно засыпать, когда неизвестно, проснешься ли снова. Он еще раз пристально ощупал взглядом главную лагерную аллею. Но и теперь не углядел никаких признаков опасности. По правде сказать, ничего особенно страшного он сейчас и не ожидал. Скорее это была обычная предсторожность старого лагерного волка, чем взаправдашний страх. Из-за дизентерии лагерь был на некоем подобии карантина, и люди из СС заглядывали сюда редко. А кроме того, в последние годы контроль за лагерной дисциплиной был уже совсем не тот, что прежде. Война все больше чувствовалась и тут: многих эсэсовцев, все геройства которых прежде сводились лишь к тому, чтобы мучить и убивать безоружных узников, наконец-то отправили на передовую. Теперь, весной сорок пятого, в лагере насчитывалась лишь треть прежнего состава войск СС. Весь внутренний распорядок давно уже почти целиком контролировался силами самих арестантов. В каждом бараке имелся свой староста и несколько палатных старост; бригады подчинялись бригадирам и десятникам, а весь лагерь — старосте лагеря. И все они были заключенными. Правда, их контролировало лагерное руководство: комендатура лагеря, надзиратели блоков, командиры колонн — это все, конечно, были эсэсовские чины. Вначале лагерь предназначался только для политических, но с течением лет сюда из переполненных тюрем города и окрестностей нагнали и толпы обыкновенных уголовников. Политические и уголовники различались цветом матерчатых треугольных лычков, нашитых на одежду рядом с лагерной меткой. У политических треугольники были красные, у уголовников — зеленые. Евреям обязательно нашивался еще один треугольник, желтый, так что в сумме оба треугольника давали звезду Давида.

Пятьсот девятый прихватил пальто Лебенталя и пиджак Йозефа Бухера, набросил их себе на спину и медленно пополз назад к бараку. Он чувствовал, что устал больше обычного. Даже ползти — и то трудно. Уже после первого десятка метров земля под ним поплыла и завертелась. Он остановился, смежил

веки и сделал глубокий вдох, чтобы собраться с силами. В тот же миг в городе завыли сирены.

Сперва только две. Несколько секунд спустя их панический вопль подхватили другие, а вскоре уже казалось, что весь город там, внизу, надрывается от крика. Рев стоял над крышами и улочками, неся с башен и фабричных труб; город раскинулся под солнцем беззащитный и, казалось, совершенно неподвижный, он только кричал, как парализованный зверь, который видит свою смерть, а убежать не в силах, — орал всеми глотками своих сирен и гудков, устремляя истошный вопль в беспредельную тишину неба.

Пятьсот девятый мгновенно вжался в землю. Находиться за пределами барака во время воздушной тревоги категорически запрещено. Он мог бы попытаться встать и побежать, но больно уж он ослаб для такой пробежки, а до барака слишком далеко; пока он будет этак перемещаться, кто-нибудь из часовых, особенно если новенький да нервный, еще, чего доброго, пальнет в него с перепугу. Поэтому он как можно быстрее пополз назад, пока не добрался до неглубокой выемки в почве, нырнул в нее и накрылся всеми своими одеждами. Теперь он выглядит просто как свалившийся замертво арестант. Такое случается сплошь и рядом и никаких подозрений не вызывает. Да и тревога наверняка продлится недолго. В последние месяцы тревогу объявляли чуть ли не через день, но все попусту. Самолеты неизменно пролетали над городом, не причинив ему никакого вреда, и улетали дальше — на Ганновер и Берлин.

Теперь в общий вой включились и лагерные сирены. Потом, некоторое время спустя, послышался второй, куда более грозный сигнал тревоги. Это был мерный, но какой-то зыбкий, наплывающий гул, словно тысячи грампластинок крутились под тупыми иглами гигантских патефонов. К городу приближались самолеты. Пятьсот девятый и это уже слышал. Его это совершенно не волнует. Вот если часовой на ближайшей пулеметной вышке вдруг заметит, что он не мертвец, — это действительно страшно. А все, что за колючей проволокой, за зоной, его не касается.

Дышать было тяжело. Душный воздух под пальто превращался в черную вату, которая наваливалась на него все плотней

и плотней. Он тут, в этой выемке, как в могиле — постепенно ему и впрямь стало казаться, что он лежит в могиле и уже никогда не встанет, на сей раз это точно конец; он так и останется тут лежать, так и помрет, все-таки сломленный слабостью, с которой столько лет боролся. Он попробовал было сопротивляться, но сил не было, он только еще отчетливее ощутил какое-то странное, покорное ожидание, разлившееся вдруг по всему телу, впрочем, не только по телу, но и повсюду вокруг —казалось, все в мире замерло и ждет чего-то; замер город, воздух, даже дневной свет. Так бывает в самом начале солнечного затмения, когда все краски вдруг подергиваются свинцовым налетом, а в воздухе замирает нарастающее предчувствие бессолнечного, мертвого мира, некий вакуум, некая бездыханность ожидания и страха: ну что, в этот раз пронесет — или уже конец?

Первый удар был не особенно силен, но раздался внезапно. К тому же пришелся он с той стороны, которая казалась самой защищенной. Пятьсот девятый вдруг ощущил очень резкий толчок под дых откуда-то снизу, из-под земли. В тот же миг мощное гудение над головой прорезал свербящий стальной визг, стремительно и с истошным подыванием нараставший — похожий на вой сирены, и все-таки совсем другой. Пятьсот девятый не знал в точности, что было раньше — удар из-под земли или этот визг и последующий треск, но он точно знал, что во время предыдущих воздушных тревог ничего подобного не было, а когда все это повторилось еще раз, отчетливей и сильней, и снова снизу и сверху, он уже понял, что это такое: самолеты впервые не пролетели мимо. Они бомбят город.

Земля снова содрогнулась. Пятьсот девятым казалось, будто кто-то из-под земли тычет ему в живот здоровенной резиновой дубинкой. Он вдруг понял, что голова у него совершенно ясная. Смертельная усталость вмиг куда-то улетучилась. Каждый толчок из-под земли, казалось, сотрясает его сознание. Какое-то время он еще лежал неподвижно, а потом почти безотчетно рука его потянулась вперед и осторожно приподняла край пальто над головой, чтобы в образовавшуюся щель можно было увидеть город.

Там как раз в этот миг невероятно медленно, как игрушечный, раскололся на части и взлетел на воздух городской вокзал. Было что-то почти грациозное в той легкости, с которой взмыл ввысь золоченый вокзальный купол и, проплыv над деревьями городского парка, где-то за ними ухнуя вниз. Казалось, тяжелые взрывы тут вовсе ни при чем — так медленно и красиво все произошло, а хлопки зениток тонули в них, как тявканье терьера в басовитом лае огромного дога. После следующего подземного толчка начала крениться одна из башен церкви Святой Катарины. Она тоже падала очень медленно и как-то по-домашнему, еще по пути разваливаясь на куски и кусочки, будто все это не на самом деле, а замедленная киносъемка.

Теперь между домами стали вырастать грибки и фонтаны черного дыма. Пятьсот девятый все еще не мог осознать происходящего; казалось, великаны-невидимки решили там, внизу, позабавиться, вот и все. В уцелевших городских кварталах из труб все так же мирно курился дымок, в реке, как прежде, отражались облака, а разрывы зенитных снарядов украсили небо уютными барабашками, словно это не небо вовсе, а старая, изветшавшая подушка, из которой лезут во все стороны сероватые хлопья ваты.

Одна из бомб разорвалась далеко в стороне от города, в полях, что пологим склоном поднимались к лагерю. Но пятьсот девятый и тут не почувствовал страха, слишком далеко все это от тесного мира зоны, который только и составлял его жизнь. Бояться можно горящей сигареты, когда тебе тычут ею в глаз или мошонку, долгих недель в голодном карцере, этом каменном гробу, где ни встать, ни лечь; бояться надо козел, именуемых еще кобылой, на них тебе враз отшибают почки, или камеры пыток в левом крыле, что у главных ворот, бояться надо Штайнбрэннера, Бройера, замкоменданта Вебера, но даже эти страхи как-то поблекли и отдалились с тех пор, как его сбагрили в Малый лагерь. Да, если хочешь сберечь силы и выжить, надо уметь забывать. К тому же за десять лет существования отлаженный механизм концлагеря Меллерн все-таки подустал и разболтался, — ведь даже новоиспеченному, идеологически выдержанному и фанатично преданному идеалам эсэсовцу со временем прискучивает истязать скелеты. Они недолго выдер-

живают, да и реагируют как-то вяло. Вот когда с этапом поступает новое, свежее, крепкое пополнение, былой патриотический пыл, бывает, иногда еще разгорится с прежней силой. Тогда по ночам снова оглашают округу до боли знакомые вопли, да и личный состав выглядит как-то пободрей, словно после хорошей порции свиной поджарки с картошкой и красной капустой. Однако в целом за годы войны немецкие концлагеря стали, пожалуй, даже гуманными. Теперь людей здесь почти не мучили — всего лишь травили в газовых камерах, забивали насмерть, расстреливали или измочаливали на тяжких работах, а потом морили голодом. А если иной раз и сжигали кого в крематории заживо, так это не по злому умыслу, а скорее, по недосмотру, от переработки, а еще потому, что иные из этих скелетов очень уж не любят двигаться. Да и случалось это только тогда, когда посредством массовой ликвидации срочно требовалось подготовить место для нового эшелона. Кстати, в Меллерне не слишком рьяно морили голодом тех, кто не в силах больше работать; кое-какую еду в Малый лагерь все же подбрасывали, и ветераны вроде пятьсот девятого так к этому скучному рациону приспособились, что по части выживания били теперь все рекорды.

Бомбардировка внезапно прекратилась. Только зенитки все еще бесновались и тявкали. Пятьсот девятый еще чуть-чуть приподнял край пальто, чтобы увидеть ближайшую пулеметную вышку. На ее площадке было пусто. Он посмотрел направо, потом налево. Все вышки красовались без часовых. Охранники попросту сбежали и попрятались, благо рядом с казармой у них отличное бомбоубежище. Пятьсот девятый совсем сбросил с себя пальто и еще поближе подполз к колючей проволоке. Здесь он оперся на локти и стал внимательно разглядывать, что творится в долине.

Город теперь горел повсюду. То, что прежде выглядело почти игрой, обернулось наконец своей истинной сущностью — огнем и разрушением. Дым, словно огромный моллюск уничтожения, желтовато-черной массой подминал под себя улицы и пожирал дома. Сквозь него тут и там прорывались язычки пламени. Там, где был вокзал, гигантским снопом вздымались

к небу искры. Обломок башни церкви Святой Катарины вспыхнул разом, и языки пламени полыхнули над ним, как блеклые молнии. А над всем этим, словно ничего не случилось, беззаботно сияло солнце в своем золотистом нимбе, и было что-то почти призрачное в этом зрелище, в том, что по голубому небу с прежней безмятежностью плывут веселые белые облачка, что леса и лесистые гряды холмов спокойно и безучастно застыли вокруг в весенней мартовской дымке, — словно только город, он один, осужден суровым приговором неведомого и неподкупного судии.

Пятьсот девятый, как завороженный, смотрел вниз. Смотрел во все глаза, забыв о всякой осторожности. Он видел этот город всегда только отсюда, из-за колючей проволоки, он никогда в нем не был; но за десять лет, что он провел в лагере, город стал для него чем-то гораздо большим, чем просто городом.

Поначалу это был почти непереносимый образ утраченной свободы. Изо дня в день глядел он туда, вниз, на город — смотрел на его беззаботную суэту, когда после так называемой специальной обработки, проведенной начальником режима Вебером, еле мог доползти до своего барака; смотрел на его дома и церкви, когда с вывихнутыми плечами висел на столбе; смотрел на белые барки на его реке и на автомобили, что бодро торопились на природу, навстречу весне, по его дорогам, когда мочился кровью из отбитых почек; смотрел до рези в глазах, до одурения, смотрел, хотя смотреть на него было мукоj, еще одной пыткой вдобавок ко всем другим лагерным истязаниям.

Потом он начал этот город ненавидеть. Время шло, утекало, а там, внизу, ничто не менялось, невзирая на все, что творилось тут, наверху. Дым от его кухонных очагов каждый день беззаботно курился к небу, ничуть не пугаясь жирной копоти из труб крематория; на его спортплощадках, в его парках царило веселое оживление, хотя в те же самые часы сотни измученных человеческих тварей отдавали Богу душу на лагерном плацу; каждое лето вереницы бодрых отпускников устремлялись из него в походы и странствия по окрестным лесам, когда колонны заключенных понуро брели с каменоломни, волоча за собой умерших и пристреленных товарищей; он ненавидел этот город

за то, что его жителям нет никакого дела ни до него, ни до других арестантов.

А потом в один прекрасный день угасла и ненависть. Борьба за корочку хлеба стала важней всего на свете, а вместе с этим пришло и познание, что ненависть и память способны разрушать и без того надломленную психику точно так же, как и боль. Пятьсот девятый научился отгораживаться от всего лишнего, все забывать и ни о чем не заботиться, кроме наинасущнейших нужд ближайшего часа. Город стал ему безразличен, а его неизменный вид сделался лишь еще одним мрачным подтверждением неизменности и его, пятьсот девятого, безысходной участи.

И вот теперь город горел. Пятьсот девятый почувствовал — у него дрожат руки. Он попытался подавить дрожь, но не сумел, наоборот, она усиливалась. Казалось, все скрепы души и тела разом треснули, а то и надломились в нем. Голова болела, была какая-то пустая, и по ней изнутри кто-то барабанил.

Он закрыл глаза. Этого он не хотел. Ни за что не хотел впускать в себя эту слабость еще раз. Он давно растоптал и похоронил в себе все надежды. Теперь локти его подломились, голова упала на руки. Ему нет никакого дела до города. Нет и не будет, он не хочет. Он хочет и дальше, как прежде, бездумно подставлять солнцу грязноватый пергамент, обтянувший его череп мертвым подобием кожи, хочет дышать, бить вшей, ни о чем не размышлять — словом, делать все то, что он делает уже много лет.

Он не может. Трясучка внутри не унималась. Он перевернулся на спину и вытянулся пластом. Теперь над ним небо, все в барашках зенитных разрывов. Барашки быстро развеиваются, ветер уносит их вдаль. Некоторое время он полежал так, но тоже не выдержал. Небо было, как бело-голубая бездна, и он, казалось, летит в эту бездну. Он снова перевернулся и с трудом сел. На город больше не смотрел. Смотрел на лагерь, впервые смотрел на зону так, словно ждал оттуда помощи.

Бараки, как прежде, понуро дремали на солнце. На танцплощадке четверо мучеников все так же висят на своих столбах. Шарфюрер Бройер исчез, но из труб крематория все еще тянет-